

Николай Михайловский

О «Бесах» Достоевского



Николай Константинович Михайловский

О «Бесах» Достоевского

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2447645

Н. К. Михайловский. Сочинения: М.; 2011

Аннотация

«Когда стало известным, что г. Достоевский делается ответственным редактором „Гражданина“, „органа русских людей, состоящих вне всякой партии“, многие были этим обстоятельством заинтересованы. Интересовался и я...»

Содержание

Комментарии

Николай Константинович Михайловский

О «Бесах» Достоевского

«Пурриры» «Гражданина»^[1]. – Отчего г. Достоевский не пользуется темами, подходящими к его таланту, и берет неподходящие. – Комментарии к «Бесам». – Дневник писателя. – Власы и *citoyens du monde civilise*. – Тех ли и всех ли бесов нарисовал г. Достоевский.

Когда стало известным, что г. Достоевский делается ответственным редактором «Гражданина», «органа русских людей, состоящих вне всякой партии», многие были этим обстоятельством заинтересованы. Интересовался и я. Мне было прежде всего обидно за г. Достоевского. Если бы у «органа русских людей, стоящих вне всякой партии», как он обрисовался за год своего существования; если бы, говорю, у него были какие-нибудь определенные идеи, то это были бы, по-видимому, идеи весьма дикие, ни с чем не сообразные. В таком случае можно было бы даже радоваться, что ни с чем не сообразные идеи отстаиваются неумело и бездарно. Ведь хуже бы было, если бы за такое дело взялся человек или очень ловкий, или очень талантливый. Но такое рассуждение совершенно не применимо к «Гражданину». Никаких ясно

определенных дикостей и несообразностей он не проповедовал, а был все время некоторой кунсткамерой, хранилищем самых разнообразных антиков, монстров и раритетов, большую часть неважных даже в смысле античности и монструозности. Так, шутовство какое-то было, в сущности даже совсем невинное, насколько шутовство может быть невинно. Шутовство составляло именно цвет органа русских людей, стоящих вне всякой партии. Теперь в Петербурге появились какие-то конфеты, называемые «пурриры» (sic)¹. Конфеты сами по себе просто скверные, и соль или, вернее, сладость их состоит в прилагаемых к ним билетиках. На билетиках напечатаны стишки, сами по себе не столько смешные, сколько неожиданные, и эта неожиданность-то и может заставить иногда улыбнуться. Стишки тут, собственно, вовсе не «для смеху», не pour rire², а просто «пуррир». Так вот такой-то газетой «пуррир» и был орган русских людей, стоящих вне всякой партии. Издал, например, «Гражданин» за летние месяцы, в которые он не выходил, сборник; на первой странице второго тома этого сборника напечатано: «Посвящается подписчикам „Гражданина“ в знак благодарности и уважения от издателя и редакции». Очевидно, это не для смеха, это просто «пуррир». Или вот, например, стихотворение:

¹ так (латин.).

² для смеха (франц.).

О, я, несчастный Атлас! Целый мир,
Мир целый мук и скорби я несу!
Невыносимую несу я ношу, сердце!
О, как еще не разорвешься ты!
О, сердце гордое! Ты этого хотело!
Хотело счастья ты, безмерного хотело —
Или безмерного несчастья – сердце!
Пришло к тебе – безмерное несчастье!

Это, очевидно, вовсе не для смеха сделанный перевод Гейне, это отрывок из обширного «пуррира» г. Прахова, печатавшегося в прошлом году в «Гражданине». А пурриры кн. Мещерского? Да всего и не перечтешь. И редактором такой-то газеты «пуррир» является вдруг г. Достоевский. По неволе станет обидно за него, как за одного из талантливейших современных писателей. Что он Гекубе? Что она ему? Но затем является вопрос: что сделает из «Гражданина» г. Достоевский и сделает ли что-нибудь? Теперь, кажется, можно уже ответить на этот вопрос. Г. Достоевский из «Гражданина» ничего не делает, ничего или почти ничего. Правда, шутовской характер органа русских людей, стоящих вне всякой партии, постепенно ослабевает под влиянием, надо думать, нового редактора. Но Бог весть, к добру ли это: шутовство именно и составляло до сих пор цвет «Гражданина», и, лишаясь его, «Гражданин» обесцвечивается. А что получает он взамен? Фельетоны г. Достоевского («Дневник писателя»), которые, без сомнения, читаются с большим интере-

сом. Но г. Достоевский – писатель в высшей степени своеобразный и однообразный, до такой степени своеобразный и однообразный, что для него едва ли возможно распространить свой дух на всю пустыню «Гражданина». Он будет изображать собою некоторый оазис среди этой пустыни, и больше от него ничего нельзя требовать.

Кстати, о своеобразии и однообразии г. Достоевского. Я только на днях прочитал его последний роман «Бесы», уже в отдельном издании, и по прочтении мне пришел в голову следующий вопрос: отчего г. Достоевский не напишет романа из европейской жизни XIV–XVI столетия? Какое ведь там обширное поприще представляется для его блестящего психиатрического таланта (иначе я не могу назвать талант г. Достоевского). Все эти бичующиеся, демономаны, ликантропы, все эти макабрские танцы^[2], пиры во время чумы и проч., весь этот поразительный переплет эгоизма с чувством греха и жаждой искупления, – какая это была бы благодарная тема для г. Достоевского. Мне почему-то вспомнился Декамерон, и я уже сравнивал игривые и легкомысленные арабески Боккаччио с тем, как воспользовался бы этой темой г. Достоевский. Но я очень быстро оборвал нить этих соображений и едва ли не вскрикнул: «Ах я телятина!» С какой в самом деле стати г. Достоевскому заниматься таким далеким временем и такими чужими делами? Просто мне глупость пришла в голову. Какие тут макабрские танцы и шабаша ведьм, с чего? Это так. Но почему бы не воспользоваться г. Достоев-

скому такими моментами, как, например, наше масонство? Может быть, из декабристов нашлись бы для него подходящие фигуры. Или вот, например, «духовный союз» Татариновой, или история Грабянки^[3]. Да и вообще царствование Александра I и начало царствования Николая Павловича так и просятся под перо г. Достоевского. Если, наконец, и это для него слишком отдаленное время, то он и нынче может найти благодарнейшие мотивы в некоторых раскольничьих сектах, в монастырской жизни, наконец, в спиритизме. Я видел всего одну только спиритку, но положительно говорю, что лучшего материала г. Достоевскому не найти.

Однако это становится любопытно. Как ни верти, а г. Достоевский точно намеренно обходит все те темы, которые дали бы ему возможность развернуть свой блестящий талант. Скажут, может быть, что перечисленные темы требуют особого специального изучения. Это правда. Но, спрашивается, изучал ли г. Достоевский те темы, которые им эксплуатируются, и принадлежат ли они фактически к числу тем, преимущественно для его таланта пригодных? Небезынтересно рассмотреть это дело несколько поближе. Замечу на всякий случай, что я очень уже давно читал старые произведения г. Достоевского и только «Мертвый дом» помню с достаточною отчетливостью. Материалы для моей беседы о г. Достоевском ограничиваются «Преступлением и наказанием», «Бесами» и «Дневником писателя». Было бы очень любопытно проследить весь ход развития идей и таланта г.

Достоевского; но я должен отказаться от этой интересной задачи.

Можно с различных точек зрения различно классифицировать многочисленные действующие лица нового романа г. Достоевского. Но я попробую разделить их на несколько категорий с точки зрения отношения к ним г. Достоевского, *как писателя*, при чем и выяснятся особенности его таланта.

Мы найдем в «Бесах», во-первых, несколько фигур, сделанных очень топорно и вовсе г. Достоевскому не принадлежащих. Это молодые люди, говорящие: «нынче нет привидений, а естественные науки», девушки, разъезжающие из города в город, «чтобы заявить о страданиях несчастных студентов и возбудить их повсеместно к протесту», и т. п. Эти шаблонные образы, играющие в романе последнюю роль, автором не продуманы и не прочувствованы, а взяты напрокат у гг. Стебницких и Ключниковых^[4]. Некоторое исключение, впрочем, составляют более или менее самостоятельно отделанные и потому более или менее человекообразные фигуры жен Шатова и Виргинского. Всю эту группу г. Достоевский окрещивает именем «идеи, попавшей на улицу».

Затем идет ряд образов, принадлежащих г. Достоевскому наравне с другими русскими беллетристами. Они, разумеется, очень разнообразны по поэтической концепции, по своей нравственной идее, по роли, занимаемой ими в романе, и проч. Но я их ставлю в одну категорию потому, что всем им можно подыскать параллели в произведениях других наших

романистов и все они в то же время суть самостоятельные создания г. Достоевского. Например, тип идеалиста сороковых годов эксплуатировался у нас весьма часто. Г. Достоевский берет его, но берет с некоторых новых сторон и потому придает ему свежесть и оригинальность, несмотря на избитость темы. Если бы я имел в виду собственно критический разбор «Бесов», то я непременно занялся бы этими поучительными параллелями. Но я пишу только заметки. Большая часть лиц этой второй категории в «Бесах» удачны, а некоторые даже превосходны. Если прекрасные фигуры упомянутого идеалиста сороковых годов, Степана Трофимовича Верховенского, и знаменитого русского писателя Кармазинова, читающего свой прощальный рассказ «Merci»³, – впадают местами в шарж, то фигуры супругов Лембке положительно безупречны.

Третья категория для нас самая интересная. Здесь группируются образы, составляющие в русской литературе исключительную собственность г. Достоевского. Таких довольно много в «Бесах»: Ставрогин, Шатов, Петр Верховенский, Кирилов, Шигалев. Общее между этими лицами то, что все они находятся на границе нормального и ненормального состояния духа. Все они ведут странный образ жизни, все высказывают странные мысли. Весьма важно, однако, заметить, что это не сумасшедшие. Г. Достоевский любит иногда рисовать и таких. Так, в «Бесах» есть намеки на временное

³ «Спасибо» (франц.).

умопомешательство Ставрогина; есть сумасшедшая Лебядкина-Ставрогина, есть сходящий на глазах читателя с ума Лембке. Но не в этом состоит специальность г. Достоевского. Его любимые герои держатся на границе ума и безумия, нормального и ненормального состояния воли. Это или люди, находящиеся в сильно возбужденном состоянии, или мноманы, имеющие возможность сочинять и проповедовать весьма замысловатые теории.

Гризингер^[5] в своем сочинении о душевных болезнях замечает: «*Некоторые поэтические изображения умалишенных превосходны во многих чертах, взятых с природы (Офелия, Лир, лучше всех Дон-Кихот), но так как поэт представлял эти состояния почти исключительно с духовной стороны, как результат предшествовавших столкновений, выставляя только то, что могло служить ему для этой цели, и совершенно обходя органическое их основание, то и описание его по крайней мере односторонне*». И далее: «*Поэтические и моралистические представления не только бесполезны и теоретически ошибочны, но и положительно вредны в практическом отношении. Они дали людям, не знающим дела, такие представления о душевных болезнях, которые не имеют даже и отдаленного сходства с действительностью, и, когда представления эти не соответствуют ей, у такого человека является сомнение, действительно ли это душевная болезнь. Как наивно удивляются многие посетители дома умалишенных, представлявшие себе его жителей совершенно иначе!*»

Таковы требования психиатра. Но, конечно, они слишком строги. Обыкновенный читатель не психиатр и очень редко эмпирический психолог, поэтому в Дон-Кихоте, например, для него имеют совершенно второстепенный интерес те именно черты, которые с психиатрической точки зрения, может быть, особенно дороги, например, галлюцинации ламанчского героя. Поэтому, называя выше талант г. Достоевского психиатрическим, я не то хотел сказать, чтобы им верно изображались отклонения разума и воли от нормального состояния. Об этом и судить не могу. Думаю, что, как и всякому наблюдателю, интересующемуся известным кругом явлений, г. Достоевскому случается и делать верные наблюдения, и впадать в фальшь. Но некомпетентность эта не мешает мне, как и всякому другому, судить о психиатрических субъектах г. Достоевского с эстетической и нравственной стороны. Дон-Кихот занимает меня, как художественное произведение и как нравственный тип, хотя бы я имел самые смутные понятия о процессах галлюцинаций и иллюзий. Литературная критика и голос толпы оценили Дон-Кихота за долго до психиатров.

Относительно г. Достоевского дело облегчается еще тем, что, несмотря на свою склонность к изображению безумия, он редко рисует его только как процесс. В большинстве случаев он решает при помощи своих психиатрических субъектов какую-нибудь нравственную задачу и большую часть придает решению мистический характер. Он, если поз-

волена будет некоторая восточность метафоры, разыгрывает на струнах душевной болезни нравственно-политические мотивы. В «Бесах», как и в «Преступлении и наказании», как и в «Идиоте», он устраивает целые оркестры такого рода. Он делает это двойко. Либо он берет какой-нибудь психологический мотив, например, чувство греха и жажду искупления (мотив, его особенно интересующий), и заставляет его действовать в образе. Вы видите, например, что человек согрешил, его мучает совесть, он налагает, наконец, на себя какую-нибудь эпитимью и тем достигает душевного спокойствия. Это один прием. Он был применен г. Достоевским в «Преступлении и наказании». В «Бесах» неудачную попытку этого рода представляет Ставрогин. Другой прием состоит в том, что измученному душевною болезнью человеку влагается в уста известное разрешение какого-нибудь нравственного вопроса. В «Бесах», к сожалению, преобладает второй прием. Говорю: к сожалению, потому что прием этот, очевидно, невыгоден в художественном отношении. Одно из действующих лиц последнего романа г. Достоевского говорит: «Не я съел свою идею, а моя идея меня съела». Это могли бы сказать о себе весьма многие герои г. Достоевского. И это тип, без сомнения, в высшей степени интересный и поучительный. Но одно дело показать его как тип, как живой образ, на глазах читателя действительно пожираемый своею идеею. И другое дело заставить человека без усталости проповедовать пришитую к нему идею. А таковы большею

частью герои «Бесов» (я разумею героев третьей категории, излюбленных героев г. Достоевского). Они пожираются своею идеею в совершенно другом смысле. Дело в том, что у г. Достоевского такой громадный запас эксцентрических идей, что он просто давит ими своих героев. В этом отношении его можно сравнить с Бальзаком. Приведем два-три примера.

В числе всякой губернской сволочи, увивающейся около губернаторши, m-me Лембке, есть некто Лямшин. Это мелкая гадина, трусливая, глупая, скверная. Лембке наконец выгоняет его от себя, но приятели убеждают ее прослушать «новую особенную штучку на фортепьяно», которую выдумал Лямшин. Штучка называется «Франко-прусская война». «Начиналась она грозными звуками Марсельезы:

Qu'un sang impur abreuve nos billons!⁴

Слышался напыщенный вызов, упоение будущими победами. Но вдруг, вместе с мастерски варьированными тактами гимна, где-то сбоку, внизу, в уголку, но очень близко слышались гаденькие звуки *Mein lieber Augustin*⁵. Марсельеза не замечает их, Марсельеза на высшей точке упоения своим величием, но *Augustin* укрепляется, *Augustin* все нахальнее, и вот такты *Augustin* как-то неожиданно начинают совпадать с тактами Марсельезы. Та начинает как бы сердить-

⁴ Пусть нечистая кровь напоит наши поля! (*франц.*).

⁵ Мой любимый Августин (*нем.*).

ся, она замечает наконец Augustin, она хочет сбросить ее, отогнать, как навязчивую, ничтожную муху, но Mein lieber Augustin уцепилась крепко: она весела и самоуверенна; она радостна и нахальна; и Марсельеза как-то вдруг ужасно глупеет: она уже не скрывает, что раздражена и обижена, это вопли негодования, это слезы и клятвы с простертыми к провидению руками:

Pas im police de notre terrain, pas une pierre de nos fortresses⁶.

Но уже она принуждена петь с Mein lieber Augustin в один такт. Ее звуки как-то глупейшим образом переходят в Augustin, она склоняется, погасает. Изредка лишь, прорывом послышится опять: qu'un sang impur... Но тотчас же преобидно перескочит в гаденький вальс. Он смиряется совершенно: это Жюль Фавр, рыдающий на груди Бисмарка и отдающий все, все... Но тут уже свирепеет и Augustin: слышатся сиплые звуки, чувствуется безмерно выпитое пиво, бешенство самохвальства, требования миллиардов, тонких сигар, шампанского и заложников; Augustin переходит в неистовый рев... Франко-прусская война оканчивается. Наши аплодируют. Юлия Михайловна улыбается и говорит: „Ну как его прогнать?“ Мир заключен. У мерзавца действительно был талантик». Не то что талантик, а идея мерзав-

⁶ Ни одной пяди нашей земли, ни одного камня наших крепостей (франц.).

да совершенно давит его, его не видишь в течение всего дуета Марсельезы с *Mein lieber Augustin*, так что подчеркнутые слова встречаешь с некоторым изумлением: читатель совсем было и забыл Лямшина.

Другой пример. Петр Верховенский обнаруживает свою «идею» только в конце второй части романа.

И пока этого не случилось, вы можете следить за его фигурой, можете рассуждать, удовлетворительна ли она в литературном отношении (весьма неудовлетворительна), какова она, как нравственный тип и т. п. Но вдруг на Верховенского нападает восторженное состояние, оказывается, что он фанатик. Он развивает свою идею. Он восторженно доказывает Ставрогину, что необходимо одно или два поколения разрушения, пожаров, убийств, разврата «неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь». «Начнется смута! Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал. Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам». Тут по плану г. Верховенского надо пустить «Ивана Царевича», роль, предназначенная им Ставрогину. «Слушайте, я вас никому не покажу, никому: так надо. Он есть, но никто не видал его, он скрывается. А знаете, что можно даже и показать, из ста тысяч одному, например. И пойдет по всей земле: „Видели, видели“. И Ивана Филипповича бога-саваофа видели, как он в колеснице вознесся пред людьми, „собственными“ глазами видели. А вы не Иван Филиппович; вы красавец, гордый как Бог, ничего

для себя не ищущий, с ореолом жертвы, „скрывающийся“. Главное легенду! Вы их победите, взглянете и победите. Новую правду несет и „скрывается“. А тут мы два-три соломонских приговора пустим. Кучки-то, пятерки-то – газет не надо! Если из десяти тысяч одну только просьбу удовлетворить, то все пойдут с просьбами. В каждой волости каждый мужик будет знать, что есть, дескать, где-то такое дупло, куда просьбы опускать указано. И застонет стоном земля: „Новый правый закон идет“, и заволнуется море, и рухнет балаган, и тогда подумаем, как бы поставить строение каменное. В первый раз! Строить *мы* будем, мы, одни мы!»

Мы привели только часть практического плана Верховенского, и он еще на нескольких страницах развивает теоретическую сторону своей идеи. И во все это время читатель до такой степени поражен дикой оригинальностью, эксцентричностью идеи, что Верховенского тут как будто и не бывало. Точно вы читаете дикую книгу или слушаете дикую речь совершенно неизвестного и ни малейше вас не интересующего человека.

И замечательно, что исчезновение Верховенского, как образа, как характера, происходит как раз в ту минуту, когда он становится представителем третьей из принятых нами категорий, то есть когда он переходит в исключительную собственность г. Достоевского. Без сомнения, такое пожирание тучных коров поэзии тощими коровами фантазии людей, находящихся на границе ума и безумия, – в художе-

ственном отношении не может быть выгодно. Герои г. Достоевского, давимые идеями, по необходимости бледны, бледнее по крайней мере, чем они могли бы быть нарисованы рукою такого мастера. И в «Бесах» они особенно бледны, здесь нет ни одного образа, равного в художественном отношении фигурам Раскольникова, Свидригайлова в «Преступлении и наказании». Недурен, пожалуй, Шигалев, но он, во-первых, стоит в самом заднем углу, а во-вторых, не развертывает своей идеи вполне, а только показывает один край её, так что не успевает быть ею придавленным. Вообще же вместо образов людей, придавленных своими идеями, в «Бесах» фигурируют образы, придавленные идеями, обязательно изобретенными для них автором.

Позволив себе эти беглые эстетические замечания, перейдем к самим идеям. Хорошо или дурно изображены известные типы, но надо еще знать, уместно ли их изображение. Надо знать, с кого г. Достоевский портреты эти писал и где разговоры эти слышал.

В «Бесах» рассказывается история, по внешнему ходу событий и обстановки поразительно сходная с так называемым Нечаевским делом^[6]. Есть тут вожак, Верховенский (сын), устраивающий тайное общество посредством целого ряда обманов. Он водит всех за нос каким-то центральным революционным комитетом, связями с международным обществом рабочих, виршами, будто бы в честь его, «студента», написанными Герценом. Есть поддельный ревизор, присут-

ствующий с записной книжкой на заседаниях кружка. Есть студент Шатов, постоянно враждующий с вожакom Верховенским. Есть сцена убийства Шатова, которого заманивают в грот в парке и там сначала пристреливают, а потом топят. Есть некто Толкаченко, «странная личность, человек уже лет сорока и славившийся огромным изучением народа, преимущественно мошенников и разбойников, ходивший нарочно по кабакам, впрочем, не для одного изучения народного». И проч., и проч., и проч. В некоторых отношениях романист точно задался мыслью не отступать от сведений, добытых следствием и судом по Нечаевскому делу. Так, например, отношения, существовавшие между Нечаевым и Ивановым, не выяснены. Неизвестным и до сих пор остается, хотел ли Иванов сделать донос, или он только в том подозревался, или, наконец, Иванов совсем по другим причинам мешал Нечаеву. Так дело стоит и у г. Достоевского. Отношения Шатова и Верховенского весьма неясны: автор не позволил себе ни на волос отступить не то что от описываемой им действительности, а даже от действительности, как она выяснилась следствием и судом. Естественное дело, что если важная часть фабулы романа взята из современной и наделавшей шуму истории, то мы вправе ожидать от автора картины современных нравов весьма точной. Странно было бы описывать фактическую сторону дела с фотографической скрупулезностью, а содержание влагать в нее фантастическое или вообще несоответствующее. Но точность поэтической кар-

тины есть нечто весьма условное. В действительности есть черты важные и неважные, типические и случайные. Если поэт самым тщательным образом и вполне точно обрисует черты случайные, а не важные, то этим еще отнюдь не достигается поэтическая точность картины. И наоборот; я понимаю, что художник может изобразить, например, лиссабонское землетрясение двумя-тремя человеческими фигурами, если сумеет сконцентрировать в них суть дела. В какой мере точна картина современной жизни, написанная г. Достоевским? Если бы его роман был переведен на какой-нибудь незнакомый язык и попал бы таким образом в руки людей, мало или вовсе не знакомых с капризными особенностями нашего даровитого романиста, то они пришли бы в крайнее изумление. Оставляя пока в стороне смысл всего романа, мы видим небольшую группу излюбленных автором героев, молодых людей, занимающихся разрешением религиозных вопросов, в которых для них кульминируется вся злоба дня. «Вы атеист? – Да. – Веруете вы сами в Бога? – Я верую в Россию, я верую в ее православие. Я верую в тело Христова. Я верую, что новое пришествие совершится в России. – А в Бога? в Бога? – Я... Я буду веровать в Бога. – Вы стали веровать в будущую вечную жизнь? – Нет, не в будущую вечную, а в здешнюю вечную». «Он придет, и имя ему человекобог. – Богочеловек? – Человекобог, в этом разница. – Уж не вы ли и лампаду зажигаете? – Да, это я зажег. – Уверовали? – Бог необходим, а потому должен быть, но я знаю,

что его нет, не может быть». Вот вопросы и ответы, имеющие место между тремя самыми видными из излюбленных героев г. Достоевского. Из этого источника берут начало и их социальные теории. Впрочем, другие действующие лица третьей категории, Петр Верховенский и Шигалев, строят свои замысловатые теории на других основаниях. Но, во всяком случае, имел ли какое-нибудь основание г. Достоевский группировать около Нечаевского дела людей, проникнутых мистицизмом? Думаю, что нет, а тем паче не имел он права ставить их типами современной русской молодежи вообще. Такие люди, конечно, возможны и здесь, как и везде. Но мало ли, что возможно. Едва ли русская молодежь так пристально занимается мистико-религиозными вопросами. Напротив, направление ее, вообще говоря, чисто практическое, а если кое-кто из нее и занимается социальными теориями, то уж, конечно, не такого характера, каким отличаются теории Ставрогина, Шатова, Кириллова. Замечательно, что молодые люди, представляющие у г. Достоевского «идею, попавшую на улицу», тяготеют к вящему реализму, с задором объявляют, что «нынче нет привидений, а естественные науки» и т. п. Молодые же люди, «съеденные своею идеей», тяготеют в совершенно противоположную сторону. Обстоятельство это в романе ничем не мотивировано, а это жаль. Во всяком случае, если бы г. Достоевский принял в соображение громадную массу русских молодых людей, стремящихся в адвокаты, мировые судьи, проводители совершенство-

ванных путей сообщения и проч., и проч., и проч.; если бы он прибавил сюда массу молодых людей, настроенных и серьезно, и трезво, наконец, если бы он остановил подольше свое внимание на массе молодых верхоглядов, – то он, без сомнения, убедился бы, что теории, подобные шатовским, кирилловским, ставрогинским, могут занимать здесь только микроскопически ничтожное место. Он убедился бы даже, что Нечаевское дело есть до такой степени во всех отношениях монстр, что не может служить темой для романа с более или менее широким захватом. Оно могло бы доставить материал для романа уголовного, узкого, мелкого, могло бы и, пожалуй, занять место и в картине современной жизни, но не иначе, как в качестве третьестепенного эпизода. Но и помимо Нечаевского дела, где слышал г. Достоевский, чтобы современные русские молодые люди встречали и проводили друг друга вопросами: вы атеист? вы лампадку зажигали? вы уверовали? Тем паче, где слышит он из уст молодежи такие идеи, как, например: «Народ есть тело божье», «Русский народ богоносец» и т. п.? Я не спорю, может быть, он все это и слышал, но уже, конечно, не имеет права выставлять эти черты в качестве характерных, типических на первое место. В начале нынешнего столетия в Париже и в Берлине существовали клубы самоубийц, по статуту которых члены по жребию должны были убивать себя по одному в год. Это факт любопытный. Но что бы сказали о писателе, который, рисуя картину европейской жизни начала нынешнего

века, наполеоновские войны поставил бы в задний угол, а клуб самоубийц на первое место? Писатель этот мог бы быть очень точен в описании своих героев, но несоблюдение правила художественной перспективы испортило бы все дело. Я думаю, что нет надобности настаивать на пункте, который доступен ежедневному наблюдению всех и каждого, и потому позволяю себе сказать афористически: если бы г. Достоевский нарочно искал такой среды, в которой мистические теории были бы совершенно неуместны, то он нашел бы ее в современной русской молодежи.

Таким образом, мы пришли к чрезвычайно странному и любопытному результату. Г. Достоевский не пользуется темами, подходящими к свойствам его таланта, и в то же время втискивает эксцентрические идеи туда, где их в действительности нет. Это объясняется очень легко, если мы примем в соображение, как богат г. Достоевский эксцентрическими идеями. Они, очевидно, его просто мучат, теснятся в его фантазии в гораздо даже большем количестве, чем художественные образы. Прошу покорно выносить в голове Ивана Царевича и два поколения невообразимого разврата и разрушения или теорию самообожествления посредством самоубийства, которую исповедует и практикует Кириллов. Раз подобная теория сложилась в голове автора, она требует исхода. Значит, автор уже органически не может взяться за беллетристическую эксплуатацию, например, духовного союза Татариновой или спиритизма. Там есть *свои*, гото-

вые теории, *свои* эксцентрические идеи, а г. Достоевскому надо прежде всего сложить свое собственное бремя. И понятно, что удобнее всего его сложить туда, где больше места, где действительность создала наименьшее количество эксцентрических идей и теорий. Г. Достоевскому нужны только подходящие рамки, готовое драматическое положение и слабый намек на возможность эксцентрических идей. Намек этот должен быть, но чем он слабее, тем лучше, тем просторнее продуктам фантастической лаборатории автора. Конечно, это обобщение может показаться слишком поспешным. Но я только предлагаю объяснение, в пользу которого говорят и еще кое-какие соображения. Сюда относится вышеупомянутое пожирание тучных коров поэзии тощими коровами фантазии людей, находящихся на границе ума и безумия. Сюда же относится и самое пристрастие автора к этой границе. Герои г. Достоевского как раз настолько безумны, что им позволительно уклоняться от самых неопровержимых истин, и в то же время как раз настолько умны, что могут излагать довольно связно весьма замысловатые идеи. Люди нормальные для г. Достоевского неудобны, так как им нельзя вложить в уста эксцентрическую идею. Сумасшедшие тоже не годятся, потому что тут пришлось бы довольствоваться совершенно бессвязной галиматьей.

Выше было сказано, что г. Достоевский напоминает Бальзака, конечно, не по симпатиям своим, а только по богатству эксцентрических идей и склонности к изображению

исключительных психологических явлений (небезынтересно заметить мимоходом еще одно сходство: фельетонный способ писания широко задуманных вещей). Но разница вот в чем. Бальзак, во-первых, гораздо смелее, потому что берет иногда не только исключительное психологическое явление, а нечто совершенно невозможное, фантастическое (например, Серафит). Во-вторых, взяв какой-нибудь редкий феномен, большею частью одностороннее развитие какой-нибудь страсти, он уже за ним только и следит, на нем одном, от имени его одного только и строит свои эксцентрические теории. Вследствие такой сосредоточенности роман получает иногда удивительную силу, идея романа (а не действующих лиц) вырезывается с необыкновенною ясностью, а вместе с тем оправдывается и исключительность сюжета. Менее плодovitый г. Достоевский наделяет эксцентрическими идеями всех, кого только физически возможно наделить ими (в «Бесах» они прорываются даже у Федьки-каторжника и пьяницы капитана Лебядкина). Носители эксцентрических идей оказываются при этом придавленными не только нравственно, что и хотел изобразить г. Достоевский, а и в художественном отношении, чего он, разумеется, не желал. В результате получается нечто многоцентренное, расплывающееся, ряд насильственно пригнанных драматических положений, в которых чрезвычайно трудно ориентироваться. А между тем, в «Бесах» г. Достоевский желал быть как можно яснее. Он, во-первых, снабдил роман двумя очень характерными эпи-

графами. Один – стихи Пушкина:

Хоть убей, следа не видно
Сбились мы, что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.

....

Столько их, куда их гонят.
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж отдают?

Другой эпиграф взят из евангельского рассказа об исцелении бесноватого, о том, как изгоняемые Христом бесы попросили у него позволения переселиться в пасшееся недалеко стадо свиней и как потом свиньи бросились в озеро и потонули. Эпиграф этот получает в конце романа специальное объяснение. Верховенский-отец, больной, просит сиделку прочесть ему рассказ об исцелении бесноватого. Та читает, а Степан Трофимович предается по этому случаю некоторым излияниям. «Видите, – говорит он между прочим, – это точь-в-точь как наша Россия. Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней, – это язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века! Oui, cette Russie que j'aimais toujours⁷. Но великая мысль и вели-

⁷ Да, эта Россия, которую я всегда любил (*франц.*).

кая воля осенят ее свыше, как и того безумного бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, загноившаяся на поверхности... и сами будут проситься войти в свиней. Да и пошли уже, может быть! Это мы, мы и ты, и Петруша... et les autres avec lui⁸, и я, может быть, первый во главе, и мы бросаемся, безумные и взбесившиеся, со скалы в море и все потонем, и туда нам дорога, потому что нас только на это ведь и хватит. Но больной исцелится и „сядет у ног Иисусовых“... и будут все глядеть с изумлением».

Таким образом, г. Достоевский весьма обязательно сам дает ключ к уразумению «Бесов». Но это мало подвигает дело вперед. Если бы еще г. Достоевский ограничился первым эпиграфом:

Хоть убей, следа не видно,
бились мы, что делать нам? —

то идея романа могла бы быть хоть и слишком общею, но зато по крайней мере ясною. Второй эпиграф, в особенности в связи с его объяснением устами Степана Трофимовича, показывает только, что идея романа замысловата, что тут есть некоторая претензия. Но ключ к ее уразумению предлагается в виде аллегории, которую не сразу и поймешь. Спрашивается, в чем состоят миазмы, нечистота, бесы и бесенята, в течение веков копившиеся в нашем больном? Кто это

⁸ и другие с ним (франц.).

«мы и ты, и Петруша et les autres avec lui», о которых говорит Степан Трофимович Верховенский? Кто эти свиньи, в которых вселяются бесы, изгоняемые из больной России? В чем, наконец, состоит их бесовский элемент? В самом романе трудно найти ответы на эти вопросы. Пожалуй, многие действующие лица его действительно напоминают бесноватых, но, конечно, дело не в этом прямом смысле слова, а в аллегории. Формула «мы, мы и ты, и Петруша et les autres avec lui» обобщает элементы чрезвычайно разнообразные, так что нелегко усмотреть их совпадающие стороны. «Петруша et les autres avec lui» представляются, например, нам, то есть Степану Трофимовичу Верховенскому, в виде «подлого раба, вонючего и развратного лакея», который при известных обстоятельствах «взмостится на лестницу с ножницами в руках и раздерет божественный лик великого идеала (Сикстинскую Мадонну) во имя равенства, зависти и пищеварения». Со своей стороны, и Петруша et les autres avec lui осыпают «нас», Степана Трофимовича Верховенского, эпитетами, полными ненависти и презрения. И эти враждебные отношения вполне объясняются действительным внутренним различием обоих лагерей. Далее, в каждом из них мы опять-таки видим только различия и различия. Люди, представляющие собою исключительные психологические феномены, уже сами по себе составляют нечто, трудно поддающееся обобщениям. А так как в «Бесах» эти люди суть большею частью только подставки для эксцентрических идей, то ста-

новится еще труднее стать на такую точку зрения, с которой все они сливались бы в понятие стада бесноватых свиней. В самом деле, эксцентрическая идея непременно стоит, если можно так выразиться, ершом, она не имеет ничего общего с идеями неэксцентрическими и другими эксцентрическими, так что ряд подставок для эксцентрических идей не подлежит никакому синтезу; нет ведь возможности подвести им итог. И потому, как ни старался г. Достоевский быть ясным, он этого не достиг.

К счастью, тут подвернулся «Гражданин». Потому ли, что идеи «Бесов» вообще сильно занимают г. Достоевского, или потому, что «Дневник писателя» пишется под непосредственным влиянием писания «Бесов», но дневник этот может быть рассматриваем как комментарий к «Бесам». Многие мысли «Дневника» высказаны уже в «Бесах» разными действующими лицами, и в особенности молодым студентом Шатовым, или, в переводе на язык действительности, убитым Ивановым. Комментируя «Бесов» «Дневником», мы уясним себе многое.

Николай Ставрогин, по первоначальному по крайней мере замыслу автора, должен был, по-видимому, быть самым заметным из действующих лиц романа, некоторым его центром. Вышла, однако, фигура с претензиями, но крайне тусклая. Шатов, Кириллов, Лебядкин повторяют ему одну и ту же фразу: «Вспомните, как много значили вы в моей жизни», но это значение остается невыясненным. Шатов

ждет от Ставрогина многого, рассчитывая на его гениальность; Верховенский Петр тоже ждет от него многого, но в расчете на его «необыкновенную способность к преступлению». Все видят в нем отчасти натуру крайне сильную, а отчасти крайне слабую. Где-то за кулисами действует Ставрогин в качестве члена тайного «сладострастного» общества, «у которого маркиз де Сад мог бы поучиться», которое «заманивало и развращало детей». Когда-то, опять-таки за кулисами, Ставрогин «уверял, что не знает различий в красоте между какою-нибудь сладострастной зверскою штукой и каким угодно подвигом, хотя бы жертвой жизнью для человечества, что он нашел в обоих полюсах совпадение красоты, одинаковость наслаждения». Словом, это что-то очень бурное, необыкновенное, но вместе с тем что-то очень плоское, будничное. Так, например, Ставрогин давно записался в граждане кантона Ури, купил там маленький дом и зовет туда с собой по очереди трех ни в чем между собой не сходных женщин: экзальтированную Лизу, преданную Дашу и сумасшедшую Лебядкину. Ему, кажется, все равно, с кем скоротать свою бурную жизнь, но только непременно с женщиной, непременно в маленьком швейцарском доме, никого не видя, ничего не делая. Все поступки Ставрогина как-то изысканно необычайны. И особенно замечательно, что г. Достоевскому очень хочется показать, что он в здравом рассудке. Он даже нарочно для этого сводит его на время с ума: заставляет делать безумные выходки, которые, однако, по об-

щему необъяснимо таинственному инстинктивному убеждению свойственны Ставрогину и в здравом уме. Роман даже тем и оканчивается, что труп самоубийцы Ставрогина анатомируют и «наши медики по вскрытии трупа совершенно и настойчиво отвергли помешательство». Это последние строки романа. Очевидно, г. Достоевский хотел тут разрешить некоторую психологическую задачу, но не только разрешения какой-нибудь задачи не вышло, не вышла даже постановка ее. Некоторое пояснение дела найдем мы в «Дневнике писателя» («Гражданин», № 4). Там рассказывается следующая история. Один мужик взялся сделать какую угодно «дерзостную» штуку. Другой и заказал ему: пойти причастаться, но причастия не глотай, а возьми в руки и сохрани. Мужик сделал. Тогда деревенский Мефистофель повел его в огород, велел положить причастие на землю, зарядить ружье и выстрелить в причастие. «И вот только бы выстрелить, – рассказывал потом мужик, – вдруг предо мной как есть крест, а на нем Распятый. Тут я и упал с ружьем в бесчувствии». Затем мужик пошел каяться в грехах своих, почувствовал жажду искупления и страдания и отправился за советом к «схимнику, монаху-советодателю», который и наложил на него подходящую эпитимью.

Вот рассказ. Вместе с некоторыми из замечаний г. Достоевского он мог бы составить прекрасную монографию, в смысле описания и разъяснения данного случая. В качестве поэта г. Достоевский мог бы ограничиться собственно образ-

ным представлением развития «дерзостной» мысли, страшного страдания, последовавшего за ее осуществлением, и, наконец, наслаждения искупляющим страданием. Могла бы выйти великолепная вещь. Если г. Достоевский не надеется на силу своего поэтического таланта, то он мог бы, конечно, развести образцы некоторыми размышлениями. Но г. Достоевский ведет дело в этом отношении уже слишком далеко. Он видит в дерзостном и кающемся мужике символ, ни больше, ни меньше, как «всего русского народа в его целом», и по этому случаю предается некоторой мало основательной публицистике. Вот некоторые из характеристических, по мнению г. Достоевского, черт русского народа в его целом. «Это прежде всего – забвение всякой мерки во всем (и, заметьте, всегда почти временное и преходящее, являющееся как бы каким-то наваждением). Это потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну и – в частных случаях, но весьма редко – броситься в нее, как ошалелому, вниз головой... некоторое адское наслаждение собственной гибелью, захватывающая дыхание потребность нагнуться над пропастью и заглянуть в нее, потрясающее восхищение пред собственной дерзостью». Это одна черта, черта, по мнению г. Достоевского, всенародная. В частности, выразилась она и в истории дерзостного мужика. Она же, очевидно, должна была составлять основу характера Ставрогина, ибо некоторые действующие лица романа гово-

рят о нем почти теми же словами, какие г. Достоевский употребляет для характеристики народа. Потому-то г. Достоевский так и хлопочет, чтобы Ставрогина не приняли за сумасшедшего: он должен выражать собою одну из типических черт русского народа, и все его безобразия должны объясняться потребностью дерзости.

Другая черта народа состоит в страстной потребности искупить дерзость, грех. «С такою же силою, с такою же стремительностью, с такою же жаждою самосохранения и покаяния русский человек, равно как и весь народ, и спасает себя сам, и обыкновенно, когда дойдет до последней черты, то есть когда уже идти больше некуда. Но особенно характерно то, что обратный толчок восстановления и самоспасения бывает серьезнее прежнего прорыва – отрицания и саморазрушения. То бывает всегда на счету как бы мелкого малодушия; тогда как в восстановление свое русский человек уходит с самым огромным и серьезным усилием, а на отрицательное прежнее движение свое смотрит с презрением к самому себе. Я думаю, самая главная, самая коренная духовная потребность русского народа есть потребность страдания всегдашнего и неутолимого, всегда и во всем. Этою жаждою страдания он, кажется, заражен искони веков. Страдальческая струя проходит через всю его историю, не от внешних только несчастий и бед, а бьет ключом из самого сердца народного... Если он способен восстать из своего унижения, то мстит себе за прошлое падение ужасно, даже боль-

нее, чем вымещал на других, в чаду безобразия, свои тайные муки от собственного недовольства собой». Вот другая черта народного русского характера, фигурирующая и в истории дерзостного мужика. Есть она отчасти и в Ставрогине. Она прорывается в нем отдельными вспышками, например, когда он объявляет о своем браке с Лебядкиной, когда он молча выносит пощечину от Шатова и т. д. Прорывается, но не доходит до конца. Любопытно, что Шатов, представляющий собою вообще мнения г. Достоевского, посылает Ставрогина в какому-то Тихону, бывшему архиерею, живущему по болезни на покое, к которому ходят за советами. Это, очевидно, тот же схимник, монах-советодатель, к которому дерзостный мужик идет за эпитемьей. Но Ставрогин не пошел за эпитемьей, не пошел за активным, так сказать, страданием, а страдания пассивного, предложенного стечением жизненных обстоятельств, не вынес и повесился. Вот в чем, значит, разница между Ставрогиным и Власом, как г. Достоевский зовет дерзостного мужика, мотивируя весь рассказ о нем известным стихотворением Некрасова:

В армяке с открытым воротом,
С обнаженной головой,
Медленно проходит городом
Дядя Влас – старик седой,

и т. д.

И Влас, и Ставрогин одинаково чувствуют «наклонность к преступлению», наклонность, впрочем, только порывистую, наклонность согрешить для греха, для сильного ощущения. Но Власа этот грех не выбивает из его жизненного седла окончательно, в конце концов, даже укрепляет в нем. Он идет искупать свой грех и в страдании искупления находит примирение с самим собой. Ставрогин этого сделать не в силах. Он падает окончательно именно потому, что не может или не хочет принять на себя крест; вернее сказать, не может, сил не хватает, хоть его и тянет к этому.

Таким образом, благодаря «Дневнику писателя» тусклый образ Ставрогина несколько уясняется. Но мы все-таки еще далеки от идеи романа – от бесов, бесноватых свиней и больной России. Не ясен даже ближайший пункт: что должен изображать собою Ставрогин, если только он не единица, не имеющая никакого общего значения; почему, сохранив одну черту народного характера, он утратил другую; почему, наконец, у Власа хватает силы на искупление, а у Ставрогина нет. Пойдем дальше в своих комментариях.

Один из героев «Бесов», Кириллов, сочинил эксцентрическую теорию, сущность которой, насколько ее понимать можно, состоит в следующем: Бога нет; если бы он был, то я должен бы был повиноваться его воле; но так как Бога нет, то я остаюсь единственным и полным владельцем своей судьбы и должен заявить, что я человек вольный, никого над собой не признаю и никого и ничего не боюсь; таким полным актом

моей воли или «своеволия» может быть только самоубийство, но самоубийство без всякой видимой причины: хочу и basta. Это вяжется у Кириллова с разными другими вещами и, между прочим, со служением человечеству. Он верует, что, убив себя, он докажет миру ложь бытия божия и укажет человечеству новые пути. В силу этой теории Кириллов и решает убить себя. Этим пользуется шайка Петра Верховенского и заставляет безумца подписать перед самоубийством записку, в которой Кириллов принимает на себя убийство Шатова. Подписывая, Кириллов находится в каком-то истерическом состоянии и непременно хочет подписаться, *de Kirilloff gentilhomme russe et citoyen du monde*, «еще лучше»: *gentilhomme – seminariste russe et citoyen du monde civilise*⁹. Немедленно после этих слов Кириллов хватается револьвер и бежит стреляться. В словах этих звучит какая-то насмешка над самим собой, какая-то ирония, тем более необъяснимая, что Кириллов по собственному своему убеждению исполняет священный долг. И ничего в предыдущем не дает ни малейшего намека на смысл французской подписи. Очевидно, здесь автор просто не стерпел и подсунул Кириллову, на свой собственный страх, насмешливое прозвище, в устах Кириллова совершенно бессмысленное, невозможное. К счастью, у нас есть опять-таки «Дневник писателя», в котором это самое насмешливое прозвище является в сопро-

⁹ Кириллов, русский дворянин и гражданин мира; дворянин – русский семинарист и гражданин цивилизованного мира (*франц.*).

вождении некоторого объяснения. В Дневнике г. Достоевский называет Герцена *gentilhomme russe et citoyen du monde*. Некрасова «общечеловеком и русским *gentilhomme*'ом». Но опять-таки, с которой стороны могут быть подведены к одному знаменателю Некрасов, Герцен и Кириллов?

Мне очень хочется добраться вместе с читателем до идеи «Бесов». Г. Достоевский имеет полное право требовать, чтобы к его мыслям и произведениям относились со всевозможными вниманием и осторожностью. Я это делаю, и не моя вина, что это может быть сделано только при помощи целого ряда отступлений. Так уж г. Достоевский свой роман устроил. Но теперь мы сделаем, надо думать, уже последнее отступление, мы у берега.

Я уже говорил о любопытном совпадении кровных, задушевных мыслей г. Достоевского, высказываемых им в «Гражданине», с идеями Шатова. Сходство между Шатовым и г. Достоевским до такой степени полно, что, излагая мысли Шатова, можно цитировать «Дневник писателя», и наоборот. Но при изложении этом надо устранить прежде всего одну двусмысленность. И г. Достоевский, и Шатов, к сожалению, играют словом «Бог». Иногда они придают этому слову тот же смысл, который ему придается всеми людьми, как верующими, так и неверующими. Но иногда они понимают под «Богом» нечто иное, и именно, кажется, совокупность и высшую точку развития национальных особенностей. Так, например, они называют религией древних греков их фило-

софию и искусство, русским богом – государство. Куда при этом деваются Зевес и Юпитер со всей их свитой – не известно. Г. Достоевский и Шатов иногда громят атеистов в обыкновенном смысле этого слова, то есть в качестве людей, отрицающих существование личности творца вселенной. И в то же время Ставрогин пишет: «Шатов говорил мне, что тот, кто теряет связи с своей землей, тот теряет и богов своих, то есть *все свои цели*». Да в этом же смысле высказываются и сами Шатов, и г. Достоевский. А между тем, на этой двусмысленности, на этой игре слов основываются многие их аргументы. Шатову как человеку, находящемуся в постоянно возбужденном состоянии, наконец, как человеку, не берущемуся никого поучать, это простительно. Но от г. Достоевского можно было бы требовать большей отчетливости и меньшей игривости. Он ведь романист, а теперь и публицист, и редактор журнала. Любопытно наблюдать процесс, которым обнаруживается это легкомысленное отношение г. Достоевского к делу. Шатов, смешав Бога с богами в смысле цветов и плодов цивилизации и народных особенностей, доказывает, что человек, оторванный от народной, национальной почвы, тем самым уже становится атеистом. Доказывает он это восторженно, но торопливо, нескладно, нелепо, что вполне объясняется его ненормальным состоянием: с ним «жар», он только-то прожил три дня с мыслью, что его убьет Ставрогин. И тем не менее г. Достоевский считает этот пункт доказанным и говорит в «Дневнике»: «Герцен

был продукт нашего барства, gentilhomme russe et citoyen du monde. В полтора ста лет предыдущей жизни русского барства, за весьма малыми исключениями, истлели последние корни, расшатались последние связи его с русской почвой и с русской правдой. Герцену как будто сама история предназначила выразить собою в самом ярком типе этот разрыв с народом огромного большинства нашего образованного сословия. В этом смысле это тип исторический. Отделясь от народа, они, *естественно, потеряли и Бога*. Беспокойные из них стали атеистами, вялые и спокойные – индифферентными» и т. д. (Шатов говорит почти слово в слово то же самое о Белинском). Ввиду этого легкомыслия я отказываюсь следить за теорией г. Достоевского – Шатова во всей ее полноте. Это просто невозможно. В теории этой заключается, между прочим, такой пункт: каждый народ должен иметь своего бога, и когда боги становятся общими для разных народов, то это признак падения и богов, и народов. И это вяжется как-то с христианством, а я до сих пор думал, что для христианского Бога несть эллин, ни иудей...

За вычетом этой двусмысленности, этой совершенно неприличной игры слов, воззрения г. Достоевского – Шатова сводятся к следующему. Веками сложилась русская почва и русская правда, сложились извечные понятия о добре и зле. Петровский переворот разделил народ на две части, из которых одна, меньшая, чем далее, тем более теряла смысл русской правды, а другая, большая, только слегка подернулась

этим движением. Когда первая часть, меньшинство, образованные классы обратили, наконец, свое внимание на большинство, на народ, обратились к нему даже с любовью и желанием добра, они уже не понимали его. Если они и любили народ, то не тот, который тут возле них реально существовал, а народ идеальный, созданный их воображением по западноевропейским образцам. А любить идеальный народ, любить «общечеловека» – значит презирать или ненавидеть народ, существующий в действительности. Этого мало. По мере удаления от народной правды, народных понятий о добре и зле, образованные *citoyens du monde* теряли всякое чутье в различении добра и зла, потому что вне народных преданий нет почвы для такого различения, на него не способны ни разум, ни наука. А между тем некоторых по крайней мере тянет к этому различению, и вот они мечутся, ищут и ничего не находят, а назад вернуться уже не могут. Они и погибнут. Может быть, они увлекут за собой временно и народ, может быть, уже и увлекают, но, в конце концов, скажут свое слово и спасут себя и нас.

Такова теория г. Достоевского – Шатова. Шатов говорит, что это «или старая дряхлая дребедень, перемолотая на всех московских славянофильских мельницах, или совершенно новое слово, последнее слово, единственное слово обновления и воскресения». Увы! кажется, и сомнения не может быть в том, что это дребедень. Теория эта, да простит мне почтенный автор, и слишком стара, и слишком ребячески

молода, чтобы из нее стоило вытаскивать ту крупицу истины, которая в ней заключается. Г. Достоевский справедливо говорит, что барство извращает понятия о добре и зле, но с Петра ли оно началось? Автор, по-видимому, и сам догадывается, что гораздо раньше и что с Петра оно только явилось в другой форме. Он говорит, что бесы и бесенята, миазмы и нечистота накопились в «нашем милом больном за века, за века!». Известно, что это один из камней преткновения славянофильского учения, и мы его трогать не будем. Мы воспользуемся только приведенной теорией для объяснения идеи «Бесов» и некоторых любопытных соображений г. Достоевского в «Дневнике писателя».

Бесноватый больной – это Россия, в которую вселились бесы, в точности не известно когда. Бесы – это утрата способности различать добро и зло. Стадо свиней, пасущееся недалеко, – это оторванные от народной почвы *citoyens du monde*, это «мы, мы и ты, и Петруша *et les autres avec lui*». Все они сохранили в себе одну черту русского народного характера – потребность дерзости, жажду отрицания и разрушения. Весь роман представляет ряд более или менее дерзких выходов и подвигов отрицания и разрушения, совершаемых разными типами *citoyen'ов*. Один пускает мышь в киоту образа, другой надругивается над самыми святыми чувствами, третий херит всю вековую русскую историю, четвертый бесцельно и бессмысленно оскорбляет людей, пятый объявляет себя богом, шестой проповедует всеобщий разврат и проч.,

и проч., и проч.

Все это совершается в силу особенной черты русского характера, заставившей и дерзостного мужика Власа покушаться на расстреляние причастия. Но из Власа бес забвения границ добра и зла немедленно выходит, Влас не теряет чувства греха и жажды искупления, страдания. Citoyen'ы не способны к этому. Отрицая, разрушая, дерзая не только в силу народной, бессознательной особенности, а и во имя чуждых, общечеловеческих идеалов, они не чувствуют греха, не гордятся им, а если и чувствуют, то не в силах понести искупающее страдание. Они вешаются, стреляются, окунаются в омут разврата и подлости, впадают в систематическое, хроническое преступление, словом, так или иначе, одолеваемые вселившимся в них бесом, бросаются со скалы в море и тонут. Возврата, спасения нет даже для Шатова, который с болезненной ясностью сознает ужас своего положения. Он предлагает Ставрогину нелепость, которую и сам готов назвать «кунштштюком»: «добыть Бога мужицким трудом».

Хоть убей, следа не видно,
Сбились мы, что делать нам?

Но вот свиньи бесноватые побросались со скалы в море и потонули. Что же, больной исцелился? сидит у ног Иисусовых? Нет, не исцелился, не сидит. Иначе г. Достоевский не писал бы своего «Дневника». Может быть, потому не исце-

лился, что еще не все свиньи перетонули, а может быть, и потому, что народились новые, особенные, которых г. Достоевский просмотрел. Да, он многое просмотрел, он *все* просмотрел...

Г. Достоевский очень ясно видит, что больной не исцелился. Он говорит, что Власы «кутят» – пьянствуют, кривят душой, грабят, убивают. Но особенное внимание г. Достоевский обращает на забвение Власами народной правды в качестве присяжных заседателей. Подталкиваемые *citoyen'*ами, либеральничаящими прокурорами и философствующими о влиянии среды адвокатами, присяжные, по замечанию г. Достоевского, слишком склонны к оправданию преступников. Г. Достоевский весьма желает отделить сентиментальность и философию среды от того воззрения народного, в силу которого народ зовет *наказанных*, преступников «Несчастливыми». Кстати, я не знаю, почему г. Достоевский везде пропускает подчеркнутое мною слово: сколько мне известно, народ не зовет несчастными воров, убийц, поджигателей; он зовет несчастными каторжников, заключенных в тюрьму, арестантов, вообще терпящих наказание. Это простое соображение помогло бы г. Достоевскому без всяких диалектических тонкостей отделить воззрения народа на «несчастливых» от философии среды и сентиментальности. Но эта простота и ясность затруднили бы г. Достоевского в другом отношении. Ему нужно доказать, что русская народная правда состоит главным образом в стремлении к страданию. Обоб-

щив несколько патологических случаев в этом направлении, г. Достоевский доходит почти до смешного в том жаре, в той ревности, с которыми он охраняет свой вывод. Он приводит, например, стихотворение Некрасова «Влас», критикует его с той и с другой стороны, но за всем тем признает, что Некрасовым верно понята страстная жажда страдания, обуявшая бывшего грешника Власа. Некоторые строки стихотворения приводят г. Достоевского даже в восторг, и он замечает: «Чудо, чудо как хорошо. Даже так хорошо, что точно и не вы писали; точно это не вы, а другой кто заместо вас кривлялся потом „на Волге“ в великолепных тоже стихах про бурлацкие песни. А, впрочем, не кривлялись вы и на Волге, разве только немножко: вы и на Волге любили общечеловека в бурлаке и действительно страдали по нем, то есть не по бурлаке собственно, а так сказать, по обще-бурлаке». Чтобы видеть, чем удовлетворяется и против чего возмущается г. Достоевский, я напомним читателю те стихи Некрасова про бурлацкие песни, о которых идет речь:

Унылый, сумрачный бурлак!
Каким тебя я в детстве знал.
Таким и ныне увидал,
Все ту же песню ты поешь.
Все ту же лямку ты несешь.
В чертах усталого лица
Все та ж покорность без конца...
Прочна суровая среда.

Где поколения людей
Живут бессмысленней зверей
И мрут без всякого следа
И без урока для детей!
Отец твой сорок лет стонал.
Бродя по этим берегам,
И перед смертью не знал.
Что заповедать сыновьям.
И как ему – не довелось
Тебе наткнуться на вопрос
*Чем хуже был бы свой удел,
Когда б ты менее терпел?*
Как он, безгласно ты умрешь,
Как он, бесплодно пропадешь...

Я думаю, я не ошибусь, если скажу, что г. Достоевский возмущается именно подчеркнутыми мною строками. В них выражается протест против страданий бурлака и, может быть, протест против отсутствия протеста с его стороны. И заметьте, как зорко ревнив и подозрителен г. Достоевский. Добро бы поэт представил русского человека, не желающего страдать, терпеть, тянуть вековечную лямку, и окружил бы его каким-нибудь ореолом или представил бы его каким-нибудь всенародным русским типом. Ну, тогда так. Тогда г. Достоевский мог бы поднять оружие за терпение и страдание, как за истинные и великие атрибуты русского народа; это было бы законно с его точки зрения. Но ничего подобного нет. Поэт изобразил людей, страдающих молча, почти не

сознающих своего страдания, а тем паче не протестующих. И г. Достоевский все-таки недоволен. Для объявления войны ему достаточно чисто отрицательного явления: человек только не поэтизирует страдания, покорности и терпения, и г. Достоевскому чудится уже здесь и презрение, и ненависть к русскому народу во имя общечеловеческих идеалов, презрение и ненависть к бурлаку во имя «обще-бурлака». И заметьте еще, как оригинально вяжутся мысли в голове г. Достоевского. Он готов не видеть разницы между добровольным искупительным страданием Власа и невольными страданиями неповинных бурлаков. Страдание есть – и конец: благоговейте и не пытайтесь хотя бы мысленно вычеркнуть его, в нем вся суть народного характера и все спасение народа.

Понятно, как должна возмущать г. Достоевского подмеченная им склонность присяжных к оправдательным вердиктам; они отнимают у преступников искупительное страдание, спасительный крест. «Прямо скажу: строгим наказанием, острогом и каторгой вы, может быть, половину спасли бы из них. Облегчили бы их, а не отяготили. Самоочищение страданием легче, легче, говорю вам, чем та участь, которую вы делаете многим из них сплошным оправданием их на суде. Вы только вселяете в его душу цинизм, оставляете в нем соблазнительный вопрос и насмешку над вами же, над судом вашим, над судом всей страны. Вы вливаете в его душу безверие в правду народную, в правду Божию».

Эти слова произвели некоторую сенсацию, так что, по собственному рассказу г. Достоевского, к нему приходил с репримандом один приятель, человек им уважаемый. Г. Достоевский ответил приятелю, что он вовсе не против суда присяжных и вовсе не желает административной опеки. Пусть сам народ свободно творит суд, пусть он именно творит его свободно, и тогда, если бы и произошла какая-нибудь большая общая беда, народ спасет и себя, и нас. Не знаю, остался ли доволен этим объяснением приятель г. Достоевского, но, по-моему, оно слишком туманно, и до него дело стояло даже как будто яснее: г. Достоевский желал спасти народную правду от опеки *citoyen'*ов прокуроров и адвокатов. Кажется, так. Но в развитии этой мысли г. Достоевский раздваивается. С одной стороны, он твердо стоит на своем: страдание есть атрибут русского народа, он любит, он хочет страдать, а следовательно, тем паче должен страдать преступник, во искупление своего греха, для своего собственного счастья. Это одна струя в аргументации г. Достоевского. Другая же состоит из положений, от которых не отказались бы многие *citoyens du monde*. Рядом с народной правдой г. Достоевский самым общечеловеческим языком и с самых общечеловеческих точек зрения доказывает, что учение о среде в своем крайнем развитии обезличивает и нравственно унижает человека. Он предполагает нелепую речь адвоката, защищающего «развитого» убийцу тем, что он убил «неразвитого», и находит, что она нелепа. Еще бы не нелепа, но при чем же

тут народная правда? Он рассказывает (и мучительно превосходно рассказывает) историю мужика, который варварством своим довел жену до самоубийства и объявлен по суду виновным, но достойным снисхождения. Этот приговор возмущает г. Достоевского, но только отчасти, потому что варвар лишен возможности искупить свой грех соответственным страданием. Главным образом его заботит судьба девочки, которая свидетельствовала против отца и которая, когда он через восемь месяцев вернется домой из острога, будет им истиранена и замучена, как и мать. А это совершенно уже общечеловеческое рассуждение. С точки зрения народной-то правды, девочке, может быть, даже и хорошо пострадать, вот как бурлаку волжскому.

Да, г. Достоевский, и вы – *citoyen du monde*, как и мы все, грешные. И тут, пожалуй, не об чем печалиться, потому что разные бывают *citoyens*, точно так же, как и народная правда бывает разная. Элементы народной правды растут, как грибы, стихийно, по направлению наименьшего сопротивления, и на одной и той же полянке можно найти и съедобный гриб, и поганку. Ведь варвар мужик в основании своем (я не говорю во всем своем существе) тоже имел правду народную – право мужа бить жену, «учить». Что касается специально уголовной правды народной, то я напому вам «Народные русские легенды» Афанасьева^[7], где вы можете найти подвиги искупления почище подвигов Власа и дерзостного мужика. Вы найдете там еще две замечательные легенды, по-

мещенные почти рядом (№ 28, «Грех и покаяние» и № 30, «Крестный отец»). В одной идет речь о великом грешнике, который долго нес крест, но однажды не вытерпел и убил разбойника, хваставшего убийствами. Он думал, что он совсем пропал, совершив убийство, когда и старых грехов не успел замолить. А оказалось, что именно убийство разбойника и спасло его: «Мир за него умолил Бога». В другой легенде совершенно наоборот: человек из таких же побуждений, как и герой первой легенды, убивает разбойника, и Господь ему говорит: «Этот разбойник убил в свою жизнь девять человек, а ты его грехи теперь на себя снял: ступай и трудись, пока грехов своих не замолишь». Вот вы тут и рассуждайте. Спрашивается, что же делать *citoyen'*ам, людям, нюхнувшим правды «общечеловеческой», ввиду стихийности и разнородного состава правды народной. Делают они вот что, и не могут они не делать либо того, либо другого: или они выбирают из народной правды то, что соответствует их общечеловеческим идеалам, тщательно оберегают это подходящее и при помощи его стараются изгнать неподходящее; или же навязывают народу свои общечеловеческие идеалы и стараются не видеть неподходящего. Г. Достоевский, к сожалению, избирает второй путь, путь очень легкий. Ему хорошо жить. Он знает, что, что бы с народом ни случилось, он, в конце концов, спасет себя и нас. Г. Достоевский очень часто повторяет эту фразу, и не подозревая, вероятно, до какой степени она *citoyen'*ская, в народной правде этой фразы

нет, народ ждет спасения от Бога, от «царей с царицами», от «купцов московских», но ничего подобного не ждет от себя. Как бы то ни было, но с этой мыслью легко жить. Легко тоже жить с мыслью о том, что мой народ любит страдать. Но опять-таки эта мысль *citoyen*'ская. Народ рот разинет, если ее ему представить. Народ может с почтением смотреть на принимающих мученический венец, он может сочувственно относиться к добровольно несущим искупительный крест, он может, наконец, страдать, не замечая этого или не зная выхода, но только *citoyen*'у может прийти в голову, что народ хочет, любит страдать, и притом наклонному к эксцентрическим идеям и к обобщению патологических явлений. Однако при всей легкости этих двух *citoyen*'ских мыслей они имеют и некоторое неудобство: с ними легко жить, но трудно действовать. Каждый шаг *citoyen*'а, проникнутого этими мыслями, связан: с одной стороны, он знает, что народ, и только народ, скажет последнее слово, значит, ему, *citoyen*'у, и соваться нечего; с другой стороны, он знает, что он, чего доброго, может неосторожно лишит народ его святыни – страдания. Не значит ли это броситься со скалы в море? Сказать, что русский народ есть единственный народ-«богоносец» в обоих смыслах слова Бог, отрицать все созданное человечеством – значит, «дерзать» не меньше, чем дерзал Лямшин или Петр Верховенский, пуская мышь в киоту, и чем вообще дерзают герои «Бесов». Границы добра и зла забыты здесь не меньше, чем у Ставрогина, Шигалева, Верхо-

венских. И, как и они, г. Достоевский-Шатов – грешник не раскаянный, гордящийся своим грехом и не помышляющий об искуплении.

Я вам скажу, г. Достоевский, как смотрят на вещи другие citoyen'ы, придерживающиеся первого способа воззрения на народ и народную правду. Мы – я говорю «мы», потому что вмещаю себе в честь стоять в рядах этих citoyen'ов, – мы поняли, что сознание общечеловеческой правды и общечеловеческих идеалов далось нам только благодаря вековым страданиям народа. Мы не виноваты в этих страданиях, не виноваты и в том, что воспитались на их счет, как не виноват яркий и ароматный цветок в том, что он поглощает лучшие соки растения. Но, принимая эту роль цветка из прошедшего как нечто фатальное, мы не хотим ее в будущем. «Логическим ли течением идей», как вы смеетесь над Герценом, или непосредственным чувством, долгим ли размышлением или внезапным просиянием, исходя из высших общечеловеческих идеалов или из прямого наблюдения, – мы пришли к мысли, что мы должники народа. Может быть, такого параграфа и нет в народной правде, даже наверное нет, но мы его ставим во главу угла нашей жизни и деятельности, хоть, может быть, не всегда вполне сознательно. Мы можем спорить о размерах долга, о способах его погашения, но долг лежит на нашей совести, и мы его отдать желаем. Вы смеётесь над нелепым Шигалевым и несчастным Виргинским за их мысли о предпочтительности социальных реформ перед полити-

ческими. Это характерная для нас мысль, и знаете ли, что она значит? Для «обще-человека», для citoyen'a, для человека, вкусившего плодов общечеловеческого древа познания добра и зла, не может быть ничего соблазнительнее свободы политической, свободы совести, слова устного и печатного, свободы обмена мыслей (политических сходов) и проч. И мы желаем этого, конечно. Но если все связанные с этою свободой права должны только протянуть для нас роль яркого и ароматного цветка, – мы не хотим этих прав и этой свободы! Да будут они прокляты, если они не только не дадут нам возможности рассчитаться с долгами, но еще увеличат их! А, г. Достоевский, вы сами citoyen, вы знаете, что свобода вещь хорошая, очень хорошая, что соблазнительно даже мечтать о ней, соблазнительно желать ее во что бы то ни стало, для нее самой и для себя самого. Вы, значит, знаете, что гнать от себя эти мечты, воздерживаться от прямых и, следовательно, более или менее легких шагов к ней – есть некоторый подвиг искупительного страдания. Конечно, г. Достоевский может тут пустить в ход иронию и посмеяться над жертвованием, происходящим исключительно в области мысли. Впрочем, я знаю, г. Достоевский над этим не посмеется...

Как бы то ни было, но, увлекшись разработкой эксцентрических идей и исключительных патологических явлений, г. Достоевский просмотрел общую и здоровую основу, если не всех их, то по крайней мере некоторых. Ухватившись за печальное, ошибочное и преступное исключение – Нечаевское

дело, он просмотрел общий характер *citoyen'*ства, характер, достойный его кисти по своим глубоко трагическим моментам. Да, он достоин его кисти даже больше, чем рассказ о дерзостном мужике. Тот сам согрешил, активно. *Citoyen'*ы же подобны тем героям легенды, которые, *не зная*, совершили блуд с матерью, сестрой и кумой и за это несут тяжкую кару. Это несравненно глубже: трагичнее. Искупление невольного греха при помощи средств, добытых грехом, – вот задача *citoyen'*ов, я не говорю, конечно, всех.

Если г. Достоевский считает петровский переворот моментом грехопадения, то я готов с ним согласиться, что только с этого момента мы получили возможность познать свою наготу и устыдиться ее, как познали и устыдились наши прародители, Адам и Ева, вкусив древа познания добра и зла. До Петра мы не стыдились и не могли стыдиться, не могли сознавать свою срамоту, хотя из этого не следует, чтобы срамоты не было в действительности или чтобы срамота не была срамотой. Во всяком случае, в настоящее-то время мы, говоря словами, кажется, Винкельмана, не до такой степени нравственны и в то же время не до такой степени безнравственны, чтобы ходить нагишом. И это сделала петровская реформа. Как и всякая другая, наша цивилизация зачата в грехе. Пот многих позволяет немногим вести благородную жизнь, говорит Ренан и повторяет г. Страхов. Таково, несомненно, фактическое условие первых шагов всякой цивилизации. И пока известный народ остается замкнутым и не про-

ветриваемым, это воспитание меньшинства на счет пота и страдания большинства входит в состав страдания народной правды; оно никого не возмущает, оно не сознается как грех. Так и шло у нас дело до Петра. Допустив приток общечеловеческих идеалов, Петр вычеркнул этот параграф из народной правды, дал возможность отнестись к нему сознательно, тогда как народная правда инстинктивна и бессознательно наивна. Славянофилы клеветают, что Петр внес неправду в русскую жизнь, тогда как он внес только возможность сознания и, следовательно, исправления искони существовавшей неправды. Тут произошло не забвение границ добра и зла, а их открытие. Петр не вычеркнул первородного греха цивилизации и даже не прекратил его развития, хотя и дал ему новые формы. Да он этого и не мог сделать. Наука, искусство, богатство, утонченные понятия, «благородная жизнь» не перестали высасывать силы из народа и после Петра. Петр даже, пожалуй, дал моментально этому порядку вещей сильнейшее напряжение. Но до него порядок этот не возбуждал обвинений и не нуждался в оправданиях, как не возбуждают обвинений и не нуждаются в оправданиях удары грома, рост дерева, падение лавины. После него нужно одно из двух: либо подыскать какие-нибудь разумные основания для продолжения греховной цивилизации, либо подумать об искуплении греха помощью средств, добытых грехом, каковы наука, искусство, техника. Они не могли быть добыты иначе, как потом и страданиями большинства, и, каково бы ни было

величие их, ничто не в состоянии сгладить пятна их происхождения. Если мы, *citoyens du monde civilise*, пишем статьи в «Гражданине» и «Отечественных записках», то только потому, что досуг нескольких поколений наших предков был обеспечен трудами, может быть, голодными смертями тысяч и тысяч людей. На известной ступени развития человек не может не содрогаться при мысли о том количестве жизней, которое оплатило собою его личное развитие. Если он и не в состоянии представить себе с достаточною ясностью всю эту необъятную перспективу невольных жертв его невольной высоты, то его все-таки смутно тянет к уплате долга. Для нас этим стремлением даже измеряется высота развития человека. И заметьте, что несчастный *citoyen*, находящийся в таком положении, не может отказаться от дальнейшего движения цивилизации. Он не может сказать: довольно науки, не надо искусства, не надо богатства, развития, свободы; поделимся всем, что мы имеем и знаем, с народом, и конец делу. Это простое решение, предлагаемое, кажется, некоторыми из полоумных *citoyen'ов* г. Достоевского, только полоумных и может удовлетворить. Наш долг народу неисчислимым, и того, что мы в настоящую минуту имеем и знаем, не хватит и на уплату процентов, если бы даже предполагаемая полоумными *citoyen'ами* ликвидация и была возможна. Но она невозможна. Отдавая социальной реформе предпочтение перед политической, мы отказываемся только от усиления наших прав и развития нашей свободы как орудий гнета

народа и дальнейшего греха. Отрицая науку для науки, мы требуем только, чтобы она помогла нам расплатиться, но самая эта расплата может совершиться только безостановочным движением науки вперед. Все эти особенности положения *сiтоуен'ов* г. Достоевский просмотрел.

Но вы просмотрели и кроме этого многое, г. Достоевский, просмотрели любопытнейшую и характернейшую черту нашего времени. Если бы вы не играли словом «Бог» и ближе познакомились с позоримым вами социализмом, вы убедились бы, что он совпадает с некоторыми по крайней мере элементами народной русской правды. А раз вы убедитесь в этом, вы уже не повторите, что «девятнадцатым февралем^[8] закончился петровский период русской истории, так что мы давно уже вступили в полнейшую неизвестность». Спросите у своего сотрудника, автора экономического фельетона, г. Евгеньева^[9], и он вам, вероятно, подтвердит это. Только он, может быть, разрисует эту известность в слишком розовых красках. Пока вы занимаетесь безумными и бесноватыми *сiтоуен'ами* и народной правдой, на эту самую народную правду налетают, как коршуны, *сiтоуен'ы* благоразумные, не беснующиеся, мирные и смирные, и рвут ее с алчностью хищной птицы, но с аллюрами благодетелей человечества. Как! Россия, этот бесноватый больной, вами изображаемый, перепоясывается железными дорогами, усыпается фабриками и банками, – и в вашем романе нет ни одной черты из этого мира! Вы сосредоточиваете свое внимание на

ничтожной горсти безумцев и негодяев! В вашем романе нет беса национального богатства, беса, самого распространенного и менее всякого другого знающего границы добра и зла. Свиньи, одолеваемые этим бесом, не бросятся, конечно, со скалы в море, нет, они будут похитрее ваших любимых героев. Если бы вы их заметили, они составили бы украшение вашего романа. Вы не за тех бесов ухватились. Бес служения народу – пусть он будет действительно бес, изгнанный из больного тела России, – жаждет в той или другой форме искупления, в этом именно вся его суть. Обвидите его лучше совсем, если вам бросаются в глаза только патологические его формы. Рисуйте действительно нераскаянных грешников, рисуйте фанатиков собственной персоны, фанатиков мысли для мысли, свободы для свободы, богатства для богатства. Это ведь тоже *citoyens du monde civilise*, но *citoyen*'ы, отрицающие свой долг народу или не додумавшиеся до него. (Таковы у вас только разве Степан Верховенский и Кармазинов.) Значит, они-то именно и составляют искомую вами противоположность Власам и дерзостным мужикам, практикующим искупительное страдание и только в нем находящим примирение со своею измученною совестью. Но если бы вы знали, г. Достоевский, как мучит иногда совесть бедных *citoyen*'ов, признающих свой долг, особенно ввиду того, что кредитор и не сознает себя кредитором. Если бы знали, как мучительно напрягается иной раз их мысль, взвешивая способы погашения долга. Я не говорю: всегда, но бывают у

этих людей минуты страшного страдания, и они не прячутся от него. Лучше бы вам их не трогать, особенно в такую минуту, когда кругом кишат и дают тон времени citoyen'ы с совестью хрустальной чистоты и твердости.

февраль 1873 г.

Комментарии

1.

«Гражданин» – политическая и литературная газета-журнал, издававшаяся в Петербурге с 1872 по 1914 г.

2.

Ликантроп (греч.) – буквально человек-волк. Макабрские танцы – пляски смерти.

3.

Грабянко из Панкрацевиц основал в конце XVIII в. братство «Народ Божий и Израиль».

4.

М. Стебницкий – литературный псевдоним писателя Н. С. Лескова.

5.

Гризингер Вильгельм (1817–1868) – основатель школы научной психиатрии в Германии.

6.

Имеется в виду «нечаевский процесс» – суд над участниками нелегальной организации «Народная расправа» под руководством С. Г. Нечаева.

7.

Афанасьев Александр Николаевич (1826–1871) – известный исследователь народного славянского фольклора.

8.

19 февраля 1861 г. был опубликован Манифест о крестьянской реформе, отменявший крепостное состояние.

9.

Евгеньев – видимо, псевдоним автора статьи о развитии в России банковского дела вообще и поземельного кредита в частности.